

Содержание

Роман без вранья.....	5
Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.....	153
Без фигового листочка.....	501

Роман без вранья

В Пензе у меня был приятель: чудака-человек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими (как доспехи, как сталь) целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими как жирные черные сосульки на блистательный целлулоидовый воротничок.

Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского дворянского института.

Нравы у нас в институте были строгие — о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уж ловит тебя в коридоре или на мраморной розовой лестнице инспектор. Смешной был инспектор — чех. Говорил он (произнося мягкое «л» как твердое, а твердое мягко) в таких случаях всегда одно и то же:

— Древние греки носили длинные вольсы для красоты, скифы — чтобы устрашать своих врагов, а ты для чего, малчик, носишь длинные вольсы?

Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем муз.

Увидев Женю Литвинова — целлулоидовые его манжеты и поэтическую шевелюру, сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвести моему стихотворному дару.

У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе — замечательная страсть, на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов также, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы — толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусагету» и прочим такого же сорта самым деликатным и модным тогда в столице издательствам. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в неразрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, разрезал, прочитывал — и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой.

Жене Литвинову и суждено было познакомить меня с поэтом Сергеем Есениным.

Случилось это летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел бодрствуя на стульчаке и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы.

Женя Литвинов, увлеченный политикой (так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде.

Почти одновременно появились в левозэсеровском «Знамени труда» — «Скифы», «Двенадцать» и есенинские «Преображение» с «Инонией».

У Есенина тогда «лаяли облака», «ревела златозубая высь», богородица ходила с хворостиной, «скликаемая в рай телят», и, как со своей рязанской коровой, он обращался с богом, предлагая ему «отелиться».

Радуюсь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина.

И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сажень, с бородой как поднос из красной меди.

Месяца через три я встретился с Есениным в Москве...

Хочется еще разок, напоследок, помянуть Женю Литвинова.

В двадцатом году мельком я увидел его на Кузнецком.

Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек.

В этих ложках сосредоточился весь остаток его немалого когда-то достояния. Был он купеческий сынок — каменный дом их в два этажа стоял на Сенной площади, и всякого добра в нем вдоволь.

Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему (по мне судя и еще по одному своему гимназическому товарищу, Молабуху, разъезжавшему в качестве инспектора Наркомпути в отдельном салон-вагоне), что на пензяков в Москве слава валится прямо с неба.

Ежедневно, ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастного приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу.

С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза! Милые мои пензюки!

2

Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному Боб) во 2-м Доме Советов (гост. «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.

Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуска красногвардеец с браунингом, отбирают пропуска два красноармейца

с пулеметными лентами через плечо. Красноармейцы похожи на буров, а гостиница первого разряда на таинственный Трансвааль. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке.

Часов в двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер вбежал маленький легкий человек с светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожей на уголок холщовой скатерти.

Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал: не играл ли он перед тем, как войти сюда, на дворе в бабки, бил чугункой без промаха, обобрал дочиста своих приятелей и явился с карманами, оттопыренными от козен и медяков, что ставили «под кон»? Одним словом, он мне очень понравился.

Бегая по номеру, легкий человек тот наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным шрифтом было тиснуто: «ИСХОД» и изображен некто звероподобный (не то на двух, не то на четырех ногах), уносящий голубыми лапищами в призрачную даль бахчисарайскую розу, величиной с кочан красной капусты. В задание художника входило отразить мировую войну, февральскую революцию и октябрьский переворот.

Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.

Трехстишие называлось поэмой, и смысл, вложенный в него, должен был превосходить правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор.

Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире сме-

хом, сразу обнаружив в себе человека, ничего не смыслящего в изящных искусствах.

И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

— Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!..

Тогда Боб, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

— А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул мне руку. Когда минут через десять он вышел из комнаты, унося на память с собой первый имажинистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса:

— Кто этот...?

— Бухарин! — ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.

В тот вечер решилаась моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства ВЦИК, что помещалось на углу Тверской и Моховой.

Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

Мы требуем массового террора.

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под синей поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с мо-

лоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее — и завитка, и синей поддевички, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

3

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

— А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделябры пуда по два вытянут?

- Разумеется, вытянут.
- А не знаешь ли ты, какого они века?
- Восемнадцатого, говорила бабушка.
- И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?
- Флорентийца.
- Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.
- Отвалят.
- Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и потащим.
- Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток брэнной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замыслили; и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об «изобретательном» образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве». У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура?», рассказал следующий нравоучительный анекдот:

— В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Покупательная возможность доллара делала его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона.

— Ничего нет проще, — отвечает садовник, — вспашите, засейте, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой и два раза в день поливайте. Если так станете делать, через триста лет у вас будет такой газон.

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету.

4

Каждый день, часов около двух, приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами. Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо, и сочился соленый сок, расплываясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри — Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скопил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вошелый наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнет-

ся: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки, будто кто простегнул по их краям алую ниточку:

— Ну а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого — даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавочку за нитками посылала.

5

На Тверской, неподалеку от Газетного, актеры Форегеровского театрала «Московский балаган» соорудили столовку.

Собственно, если говорить не по-сегодняшнему, а на языке и милыми наивными понятиями 19-го года, то назвать следовало бы тот кривобоконыйкий полутемный коридорчик, заставленный трехногими столиками (из допотопной пивнушки, что процветала некогда у Коровьего вала), не пренебрежительно столовкой, а рестораном самого что ни на есть «первого разряда».

До этого прародителя нэповских заведений питались мы с Есениным в одном подвальчике, достойном описания.

Рыжий повар в сиянии торчком торчащих волос (похож на святого со старой новгородской иконы); красного кирпича плита величиной в ампировскую двухспальную кровать; кухонные некрашенные столы, деревянные ложки и... тарелки из дворцовых сервизов с двуглавыми золотыми орлами.

Рыжий повар всякую неудобоваримую дрянь превращает в необыкновеннейшие пловы, бефы и антрекоты.

Фантазмагория неправдоподобнейшая.

Ели и плакали: от чада, дыма и вони.

Есенин сказал:

— Сил моих больше нет. Вся фантазмагория переселилась ко мне в живот.

Тогда решили перекочевать из гофманского подвальчика в столовку форегеровского «Московского балагана».

Ходили туда вплоть до весны, пили коричневую бурдохлыстину на сахарине и ели нежное мясо жеребят.

На Есенине коротенькая меховая кофтенка и высокие, очень смешные черные боты — хлюпает ими и шаркает. В ноги посмотришь — человек почтенного возраста. Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу — и будто прибавил в весе и характером стал положителен.

В ресторанчике на каждого простого смертного по полдюжине знаменитых писателей.

Разговоры вертятся вокруг стихотворного образа, вокруг имажинизма. В газете «Советская страна» только что появился манифест, подписанный Есениным, Шершеневичем, Рюриком Ивневым, художником Георгием Якуловым и мной.

Австрийский министр иностранных дел Оттокар Чернин передает в своих остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных переговоров.

— В случае, если революция в России будет сопровождаться успехом, — (говорил дипломат императора Карла), — то Европа сама не замедлит присоединиться к ее образу мыслей. Но пока уместен самый большой скептицизм, и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

— Господин Иоффе, — пишет далее Чернин, — посмотрел на меня удивленно своими мягкими глазами, а потом произнес дружественным и почти просящим тоном:

— Я все же надеюсь, что нам удастся устроить и у вас революцию.

Вот и Есенин смотрел мягко и говорил почти умоляюще.

После одной из бесед об имажинизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни «родителей», ни «душу», ни «бога», Есенин, молча отшагав квартал по Тверской, сказал:

— Жизнь у них была дошлая... Петька в гробах спал... Пимен лет десять зависть свою жрал... Ну, и стали как псы, которым хвосты рубят, чтобы за ляжки кусали...

В комнате у нас стоял свежий морозный воздух. Есенин освиrepел:

— А талантишка-то на пятак сопливый... ты помни, Анатолий, как шавки за мной пойдут... подтягивать будут...

В ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев.

Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд, не пименовскому чета, и желчь не орешинская.

Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его наизубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу.

Потом дня три писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторо-